

Виктор Свен

**Чей друг и чей враг
Михаил Зощенко?**

Издательство ЦОПЭ

Виктор Свен
ЧЕЙ ДРУГ И ЧЕЙ ВРАГ
МИХАИЛ ЗОЩЕНКО?

Виктор Свен

Чей друг и чей враг Михаил Зощенко?

**ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ ИЗ СССР (ЦОПЭ)**

МЮНХЕН

1958

ОТ АВТОРА

26 июля 1958 года «Литературная газета» в короткой заметке (неполных пятьдесят строк), сообщила о том, что «после продолжительной болезни скончался писатель Михаил Михайлович Зощенко».

В заметке — ни одного слова о том, какой это был яркий талант. Ни звука о том, как любили Михаила Зощенко читатели.

Кстати, эта гнусная заметка — извещение о смерти Михаила Зощенко подписана НЕ ПРАВЛЕНИЕМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, а всего лишь ленинградским отделением Союза писателей. И еще одно «кстати»: ни одно официальное учреждение не выразило соболезнования семье и родным покойного писателя.

Странно? Да, странно! Михаил Зощенко тридцать пять лет своей жизни отдал советской литературе. И если б не было Зощенко — еще неприглядней была эта, такая бедная подлинными талантами литература...

А вот через три дня после сообщения о смерти Михаила Зощенко, та же «Литературная газета» 29 июля 1958 года поместила другое сообщение: о смерти певца-импровизатора и сказителя Курнабая. Кому он известен, этот Курнабай? Кто знаком с импровизациями этого сказителя? Хрущев?

Не знаем... Может быть...

Но «Правление Союза писателей СССР с прискорбием извещает» не о смерти, а о «кончине» Курнабая... И «Правление Союза писателей СССР выражает глубокое соболезнование семье покойного сказителя»...

Дикая злоба шла по пятам живого Михаила Зощенко... Почему эта злоба не развеялась у его могилы?

На этот вопрос постараемся ответить в предлагаемой читателю книжке «ДРУГ или ВРАГ?»

Немного о Михаиле Зощенко

Умер Михаил Михайлович Зощенко... Страна потеряла изумительного мастера слова... И если уж необходимо сделать какую-то сравнительную оценку, то бесспорно одно: среди советских сатириков и юмористов — не было равных Михаилу Зощенко. Бесспорно, в какой-то степени близки к нему Ильф и Петров своими двумя романами, по страницам которых торжествующе прошелся незабвенный Остап Бендер. Но только близки!

Михаил Зощенко — неповторимый и единственный... Стоящий особняком не только по своеобразию языка своего героя. Сила Зощенко в постоянном, и всегда по новому звучащем, обращении к своему излюбленному герою, обыкновенному, маленькому советскому человеку. Об этом обездоленном, пришибленном нуждой и полуголодным человеке Зощенко рассказывает с мягкой улыбкой, с грустным сочувствием.

Читая и перечитывая его рассказы и повести, нельзя не смеяться. Но странное дело: за смехом приходит глубокий вздох.

Что случилось? Почему душа волнуется теплой симпатией к тому, кому «надо спать скорей, так как подушка нужна другому», к тем служащим из города Борисова, которых партийный председатель заставляет «проводить режим экономии», к двенадцати полуодичавшим жильцам коммунальной квартиры, драку которых на коммунальной же кухне из-за ерунды, из-за примусного ежика может остановить начальственный окрик партийного милиционера: «Запасайтесь гробами, дьяволы! Стрелять буду!»

Бытовые повседневные картинки всесоюзной коммунально-квартирной обездоленности, яркие, звучные и острые реплики могут вызвать веселый хохот. И если читатель, от-

хохотавшись впадает в глубокую задумчивость — это неспроста. Неспроста потому, что на читателя — со страниц книг Зощенко — смотрит не смешной, не глупый советский «обыватель», смотрит — сам читатель. И читатель вздрагивает: ведь это его принуждают жить противоестественной, смешной и жалкой жизнью . . .

Удивителен сатирический талант Зощенко . . . За добродушным смехом, направленным, якобы, на простака, только слепой не увидит приговора той системе, которая унизила, обездолила человека. Слепых — мало. И потому Михаил Зощенко — любимец страны, любимец многомиллионного читателя . . .

Придет время и настойчивый литературовед подсчитает, скольких героев показал Зощенко в своих сатирических произведениях. Пока что скажем: этих героев — несметное число. И все они — не выдуманные действующие лица пьес «соцреалистических» драматургов, а живые, непосредственно взятые из «эпохи строительства социализма и перехода к коммунизму» люди.

Зощенко прямо не говорит, что эта «эпоха» — эпоха издевательства над человеком. Да и зачем говорить? Всякому понятно, что только на фоне такой «эпохи» и могут быть нарисованы потрясающие своим реализмом картины советской действительности.

А люди? Люди — что ж? Страдают и смеются, от тоски по обыкновенной жизни пьют водку и от такой же тоски поют заунывные песни эти маленькие советские обыватели, герои рассказов Михаила Зощенко. Дерутся и ругаются, обманывают других и обманываются сами, и по детски самоотверженно хотят сделать что-то хорошее эти люди, которых Зощенко наряжает, подчас, в шутовские или босяцкие отрепья одежд.

Над кем же смеется, над кем издевается Зощенко? Над советскими, над маленькими людьми? Нет. Дрязги, неурядицы, грязь, голод, бедлам коммунальных квартир нужны Зощенко, чтобы показать злобную подлость государственного механизма, который коверкает людей, заставляет их жить не так, как должно жить человеку.

Не над обездоленным советским человеком смеялся Зоценко. Он смеялся, чтобы смехом своим, как это делали в свое время Гоголь и Чехов, защитить маленького простого человека.

Михаил Зоценко ТАК смеялся в одиночку... Не было другого советского писателя, сатирика и юмориста, который бы свой голос присоединил к голосу Зоценко. В этом была трагедия не только Зоценко. В этом была трагедия всей страны. И в этом, конечно, стыд и позор всех тех писателей и поэтов, которые ради партийных милостей и ленинско-сталинских премий презрели честь и достоинство маленького советского человека...

Партийное начальство уже давно в Михаиле, Зоценко разгадало врага. Жданов обозвал его «клеветником» и противником социализма. В 1946 году Зоценко сошел с «литературной сцены» и замолчал. Где он провел эти годы «молчания» трудно сказать, хотя легко догадаться. И уже только в последнее время, в период «реабилитации», его имя опять промелькнуло. Появилось даже несколько фельетонов за его подписью.

Зоценко — жив!

Но это уже был не тот Зоценко, рассказами которого зачитывалась страна...

Есть русская поговорка: «Один — в поле не воин»... Михаил Зоценко оказался «одним в поле»... Почему? Потому что от него в испуге отшатнулись советские писатели, воспитанные на витаминах социалистического реализма и партийности в литературе... «Одним в поле» был Зоценко почти 35 лет... Одним, но сражающимся...

И вот — Михаил Михайлович Зоценко умер... Умер единственный советский сатирик, своим пером рисовавший подлинную картину той жизни, которой живет советский человек. Жизни — уродливой, жизни, при которой надо «спать скорей» или «запасаться гробами»...

Зоценко сам о себе

«В долгие вечера, когда тоска цепко забирала нас в свои руки, мы открывали ваши книжки. Едва ли кто был в лаборатории человеческих душ, но если бы слабые и маленькие люди добрались туда, они, нам кажется, поразились бы, увидев, как сложно и тонко устроена машина смены настроений. А вы эту тонкость и сложность смены настроений у человека разных эпох сумели показать, просто и бесхитростно рассказывая о чем-нибудь» ...

(Сборник «Письма к писателю»)

Это — из письма студентов, написанного ими и отправленного Зоценко в 1931 году ...

Мы понимаем, что эта цитата как-будто не имеет никакого отношения к теме «Зоценко о себе» ... Да, это не Зоценко о самом себе, а студенты-читатели в 1931 году сказали о своем любимом писателе, который в самый разгар партийного террора в деревне, в самый разгул сталинской сплошной коллективизации помогал людям, «когда тоска цепко забирала в свои руки», углубляться в сложную «машину смены настроений» ...

Таков Зоценко по словам студентов ... А когда поднимаешь ворох высказываний Зоценко о самом себе, то тут просто от удивления разводишь руками!

Никто из советских писателей не говорил о себе так, как делал это Зоценко. Никто из советских писателей не вплетал в ткань своих произведений «отступления», чтобы заявить о своем «кредо», о своей собственной позиции, о своем личном отношении к миру. А Зоценко «вплетал» ...

В своем месте мы покажем, какую борьбу вел Зоценко с критиками, с этими душителями творческой свободы. А

ведь борьба с ними — это борьба с партийной «генеральной линией». Об этом нельзя забывать, говоря о том месте, которое занимает Зоценко в русской литературе советского периода.

А пока что спросим: а что за человек Зоценко? Сам Зоценко относил себя к «среднему интеллигентному типу», которому присущи «неврастения, идеологические шатания, крупные противоречия и меланхолия».

Кто назовет фамилию другого советского писателя, который осмелился бы публично заявить, что он обуреваем противоречиями, шатаниями и меланхолией? Нет такого писателя. Исключение — Зоценко!

И как будто бы для того, чтобы и враги и друзья знали, с кем они имеют дело, в повесть «Сирень цветет» включена строчка:

«Сам автор — Михаил Михайлович Зоценко — сын и брат таких нездоровых людей»...

Для чего нужна эта декларация, очень напоминающая записи в протоколах допроса обвиняемых по статье 58? Она нужна Зоценко для того, чтобы кровным родством с «такими нездоровыми людьми» с их неврастением, идеологическими шатаниями и противоречиями утвердить свое право говорить от имени миллионов и о миллионах.

«В молодые прекрасные годы, когда жизнь казалась утренней прогулкой, вроде как по бульвару, автор не видел многих теневых сторон...»

А после, конечно, стал себе автор приглядываться. И вдруг видит разные вещи»...

(«Сирень цветет»)

Прогулка закончилась... Автор увидел «разные вещи»... и со страниц рассказов Зоценко поднимается и смотрит народ... с его нуждой и пришибленностью «механизмом», как (вполне понятно — почему) называет иногда автор систему власти, установившуюся после Октября...

Придавленность, бедность, бесправие, нужда, какое-то одичание — кто виноват? Кто виноват — знает Зоценко и его многомиллионный читатель. Зоценко и его читатель не

стесняются бедности и обездоленности. Их бедность и пришибленность — это не бедность и пришибленность бездельника, пропойцы и бесталанного человека. Нет! Бедность и пришибленность навязывают людям те, кто с трибун толкует о «победах, достижениях и сияющих вершинах коммунизма».

Этот «подтекст» рассказов Зоценко очень легко угадывается. Так и кажется, что и сам автор и его герои думают: да мы бедны, мы живем по-свински, мы унижены, но нам стыдиться нечего. Не мы в этом виноваты!

Это противопоставление «мы» и «они», понятно, чаще всего дается в очень завуалированном виде, и легко может быть воспринято как своеобразный литературный прием, присущий автору. Но иногда Зоценко отходит от эзопова языка и предъявляет свой паспорт писателя и свою программу.

«С точки зрения партийных — я беспринципный человек. Пусть! Сам же я про себя скажу: я не коммунист, не эсэр, не монархист. Я — просто русский человек... Многие на меня за это обидятся: этакая, скажут, невинность сохранилась после трех революций. Но это так. Нету у меня ни к кому ненависти — вот моя точная идеология... Я не коммунист... и думаю, что никогда им не буду»...

(«О себе...»)

Предъявляя такой «паспорт» — автор раз и навсегда отодвигает себя от «них», от партии, строящей коммунизм. Зоценко знал, какой ценой человеческих страданий оплачивается это «строительство». Из этого знания и его «точная идеология»: «Я — не коммунист... я просто русский человек».

Такая «точная идеология» и подвигла его на защиту маленького, простого советского человека, истосковавшегося по человеческой, обыкновенной жизни.

Никто не говорит об этой тоске! Ни одна повесть, ни одна поэма!

Никто не говорит? Тем больший позор падает на голову советских писателей. И опять — единственное исключение: Зоценко!

**«Автор... видит своими глазами все, как оно есть...
И по роду своей такой жизни автор замечает, что, к че-
му и почему»...**

(«Сирень цветет»)

**«Кому нибудь надо откликнуться и на переживания
других, скажем, средних людей, так сказать, не запи-
санных в бархатную книгу жизни»...**

(«Синягин»)

Зощенко и его герои...

Кто же герой рассказов и повестей Зощенко? На так прямо поставленный вопрос как будто отвечает сам автор:

«Кому нибудь надо откликнуться и на переживания других, средних людей, так сказать, не записанных в бархатную книгу жизни».

(«Синягин»)

Мы нарочито дважды прибегли к выдержке из повести Зощенко — «Синягин». Первый раз для того, чтобы показать, как относился сам автор к своему жертвенному труду — служению литературным словом «среднему человеку».

Во второй раз эта выдержка из «Синягина» понадобилась для того, чтобы словами Зощенко подтвердить печальную истину: советские писатели не откликнулись на подлинные переживания «средних людей».

А ведь «средний человек» — это же бесспорно подавляющая часть населения страны. Доказать это статистикой, заявлять, что «средних человек» 90 или 70 процентов — нельзя. Хотя бы потому, что партия никогда не допустит плебисцита, позволившего бы установить число тех, кто «за», кто «против» Ленина-Сталина-Хрущева...

Зощенко всего себя отдал тем, кто «так сказать, не записан в бархатную книгу жизни».

Это не пустая фраза, не литературный прием, не декларация. Об этом свидетельствует все творчество Зощенко. И мало кто обманывается только внешним блеском его юмористических рассказов. Мало кто поверит, что стоящие в центре повествования «мелкие личности» и «незначительные факты жизни» понадобились автору для издевательского смеха над этими самыми «не записанными в бархатную книгу жизни».

До чего, например, комична фигура Синягина (в повести «Синягин»). Одинокий, неприкаянный, затравленный — он в тупике, он не знает, куда ему «податься».

«А ведь социализм, братцы, строится, к коммунизму, братцы, идем!»

А Синягину — хоть в петлю!

Так что ж? Одиночка этот Синягин, которому нет пристанища, нет доли в том сумасшедшем мире, который строит и социализм и к коммунизму идет?

Нет! Читатель в этом Синягине видит самого себя, видит всех, всю страну видит в облике этого Синягина. И понимает читатель, чувствует, что как давит Синягина «строительная власть», так давит она и его, и его соседей по дому, по городу, по области и, наконец, по всей той одной пятой земного шара, над которой жуткую тень отбросил лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».

Синягин — с его судьбой — тысячекратно перевоплощается и во все новых и новых «качествах» появляется в рассказах Зоценко.

А цель-то какова в этой бесконечности перевоплощения? Может быть автор «развенчивает», «клеимит» их, предаёт анафеме, призывает бороться с ними, с этим отсталым и чуждым коммунизму элементом, который — по директивам — подлежит уничтожению?

Нет. Автор утверждает их право на жизнь . . . Автор смело заявляет о своей любви к ним.

«Упрекать автора в клевете и в оскорблении людей словами просто не приходится. Тем более, автор горячо полюбил людей со всеми ихними пороками и недостатками».

(«Сирень цветет»)

Вскормленные у партийного корыта критики со свинской развязностью «разоблачали» и пробовали запугиванием вернуть Зоценко на путь соцреализма. Когда это не удалось, они прямо обвиняли Зоценко в том, что он, обращаясь «к людям второго сорта», в своих обобщениях клеветает на советского человека.

Страшные обвинения! Тем более, что они — ни дать, ни взять! — весьма смахивали на доносы. И надо было действительно и по-настоящему «полюбить людей со всеми ихними недостатками», чтобы так публично заявить:

«Конечно, об чем говорить: персонажи, действительно, взяты не высокого полета. Не вожди, безусловно. Это просто, так сказать, прочие граждане с ихними житейскими поступками и беспокойством. Что же касается клеветы на человека, то здесь этого определенно нету».

(«Сирень цветет»)

Зоценко не только любит своих героев. Он их уважает. Он верит, что читатель его книг сам разберется «что и к чему». Потому что этот читатель — советский! Пусть он бедный и обездоленный, пусть бесправный и подчас не знающий, что он будет завтра жевать, но читатель этот — умный. И с ним, с этим умным читателем, Зоценко накоротке. Почему?

«Читателя автор насквозь узнал... Читатель пошел какой-то отчаянный».

(«Страшная ночь»)

В «Страшной ночи» (как и во многих других рассказах) Зоценко часто и с каким-то трагическим надрывом говорит:

«Автор не смеется над своим героем»...

Не смеялся над своими героями, между прочим, и Гоголь... Мы с полным основанием говорим: «невидимые миру слезы» весьма и весьма присущи Зоценко. В его юморе — большая скорбь о людях, перемалываемых «механизмом», равнодушно работающем на горячем ленинско-сталинских идей.

Кстати, за несколько лет до ждановщины, во время которой Зоценко был творчески задушен, эту черту скорби и сожаления подметил Алексей Толстой.

«В атмосфере противоречий НЭПа родилась лукавая, умная, прелестная проза Зоценко, с его иронически

приниженным героем, которого он высмеивает и жалует».

*(А. Толстой. «Четверть века советской литературы».
Сборник. 1942 год.)*

Алексей Толстой прав в том, что «умная и прелестная проза Зощенко» была «лукавой»... Но Алексей Толстой ошибался, утверждая, что Зощенко «высмеивает» своего героя.

Высмеивания — нет! Есть «смех сквозь невидимые слезы»... И потому Зощенко в кровном родстве с Гоголем, и совсем-совсем чужой Сурковым, Полевым и Погодиным...

Жизнь без прикрас...

«Я верю только своим глазам. Как Гарун аль Рашид, я хожу по чужим домам. Я хожу по коридорам, кухням, захожу в комнаты. Я вижу тусклые лампочки, рваные обои, белье на веревках, ужасную тесноту, мусор, рвань... Я не думал, что увижу то, что увидел».

(«Перед восходом солнца»)

Зоценко увидел жизнь... Но ведь и у остальных советских писателей есть глаза, чтобы видеть... Почему они Гарун аль Рашидами не ходили по чужим домам? А если ходили, то почему молчали?

Почему многие молчали — мы не знаем! Это знание помогает нам «молчальников» — не обвинять: мужество дано не всякому!

Но у могилы Зоценко надо обвинять тех, кто писал о «великой сталинской эпохе», о «животворной силе коммунистической партии», о «счастье» жить при Сталине, кто в своих литературных упражнениях ползал на брюхе перед партийным начальством и лгал, лгал, лгал без конца...

Люди умирали с голоду... Люди ставились «к стенке» подвалов ЧК и ГПУ. ... Людей бесконечными эшелонами вывозили на гибель в концентрационные лагеря... Люди по тараканьи жили в коммунальных квартирах... Людей превращали в мусор, в строительный материал для «фундамента коммунизма»... Людей, как скот, перегоняли из края в край страны «согласно историческим директивам ЦК»...

Где тот советский писатель, который бы хоть вскользь, косвенно сказал в защиту «маленького», «среднего» человека, угоняемого на Север, или прозябающего в коммунальной квартире?

Будущее воздаст каждому по заслугам...

Зоценко... Михаил Зоценко, среди семи тысяч членов союза советских писателей, великое, достойное памяти потомков — исключение...

«Я почти ничего не искажаю. Я пишу на том языке, на котором сегодня говорит улица. Я делаю это не ради курьеза».

(«Письма», сборник)

«Я делаю это не ради курьеза»... Теперь, уже после смерти писателя, можно сказать, что это он делал действительно «не ради курьеза». Язык улицы понадобился ему для того, чтобы найти прямой путь к душе читателя.

Да, только на таком, смешном и странном языке, на какой-то литературно-разговорно-блатной смеси можно было рассказать обо всем том, что имеет отношение к правде жизни.

По человечески и прямо — говорить нельзя... 58 статья Уголовного кодекса... «Тройка» или трибунал... А вот на «языке улицы» можно поболтать, посмешить и вернуть словцо о партии, о вождях, о «строительстве коммунизма»...

Читатель-то ведь свой, советский, умный читатель... Он без помощи критиков и без директив партийных организаций отлично сам разберется в веселой «болтовне» Зоценко и поймет «что к чему»... Да и разбираться не так уж трудно:

«Это есть истинное происшествие. Все, так сказать, взято из источника жизни».

(«Хороший знакомый»)

Даже без этих заявлений автора, читатель и сам знает, что у Зоценко — все из жизни, из советской жизни... Но видимо у автора была постоянная, неотступная мысль напоминать своему многомиллионному читателю:

— Смейся — смейся, но учти, что рассказы мои это не просто развлечение, не веселая шутка, не анекдот.

«Автор считает своим долгом успокоить читателя: не смотря на то, что лицо, от которого ведется повествова-

ние, есть вымышленное лицо, сама же повесть далека от вымысла — все целиком взято из жизни».

(«Сирень цветет»)

Лицо — вымышленное! Следовательно (легко догадаться!) — на месте героя рассказа можно поставить любого (да хоть того же самого читателя) — и события, судьба будут развиваться только так, как изложено в книжке: «Повесть далека от вымысла — все целиком взято из жизни!»

И еще одно:

«Автор не потрафляет читателю, а пишет так, как полагает нужным».

(«Веселое приключение»)

И еще:

«В скучной картине жизни, автор берет людей мелких, ничтожных, себе подобных и отнюдь не государственных деятелей».

(«Страшная ночь»)

Заметьте: «Автор берет людей мелких, себе подобных»... Что за самоуничижение? Для чего такое «прибеднивание»? Да опять таки для того, чтобы показать своему умному советскому читателю страшную советскую же действительность, чтобы показать жизнь без прикрас, такой, какая она есть в самом деле.

Зоценко берет «людей мелких»... А может быть это Судьба Зоценко стоит рядом с ним и нашептывает:

— Говори «о себе подобных»... Говори о тех, кому, как Синягину, «некуда податься»...

Зоценко ставит своего «мелкого героя» вровень с собой, со всемирно известным писателем, и приглашает: смотрите, что происходит! Смотрите, как мы живем! Смотрите, что с нами делают!

Равнодушное время отсчитывает годы... Равнодушное время разоблачает ложь... Равнодушное время показывает Ленина и Сталина «голыми королями». Пустота... Бессмысленность... Безысходность... Эс-эс-эрия...

«Теперь, когда прошло пятнадцать лет, и автор слегка седеет от жизненных потрясений и от забот о куске

хлеба... Автор желает увидеть всю жизнь, как она есть, безо всякой лжи и украшений».

(«О чем пел соловей»)

Если идти по следам всей тысячи рассказов и повестей Зоценко — мы и увидим советскую жизнь «безо всякой лжи и украшений»...

Если нужно кому-либо веское, неопровержимое доказательство, что стопроцентные партийно-соцреалистические писатели, лакействовавшие у Ленина и Сталина иль лакействующие у Хрущева, лгали и лгут в своих произведениях в честь партии — берите Зоценко и волоките к нему Грибачевых, Сурковых, Шолоховых...

У Грибачевых — ложь и украшения... У Зоценко — жизнь без прикрас...

Живые книги умершего Зоценко будут судить мертвые книги живых соцреалистов...

Жить стало веселей...

«Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то, что драка, целый бой. Дрались, конечно, от чистого сердца... А кухонька коммунальная, знаете, узкая. Драться неспособно. Тесно. Кругом кастрюли и примуса. А тут двенадцать человек вперлось. Хочешь, например, одного по харе смазать — троих кроешь...

А инвалид, чертова перечница, несмотря на это, в самую гущу вперся. Иван Степанович, чей ежик, кричит ему:

— Уходи, Гаврилыч, от греха. Гляди, последнюю ногу оборвут.

Гаврилыч говорит:

— Пуцай, говорит, нога пропадает. А только, говорит, не могу теперича уйти. Мне, говорит, сейчас всю амбицию в кровь разбили.

А ему, действительно, в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну, он и не уходит. Тут в это время кто-то ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу. Инвалид — брык на пол и лежит. Скучает.

Тут какой-то паразит за милицией смотался. Явился мильтон. Кричит:

— Запасайтесь, дьяволы, гробами, сейчас стрелять буду».

(«Нервные люди»)

Зоценко пристально наблюдал за тем, как уютное слово «квартира» отходило в прошлое... Зоценко видел, как под трезвон речей «об уверенной поступи к коммунизму» выплывшие на поверхность октябрьской революции обрастали

дачами, особняками, закрытыми «распределителями», а народ... народ загонялся в рабочие общежития, в кошмар коммунальных квартир.

И это называлось «жизнью»...

Драка из-за примусного «ежика», или из-за очереди в уборную, или за место у плиты — да разве ж это от злобы, от неуживчивого характера людей? Это дралась, скандалила, исходила слезами злобы коммунальная квартира. А люди... люди после очередного, каждодневного повторяющегося коммунального дебоша расходились с головной болью и с тоскливым недоумением спрашивали себя:

— Неужели это было? Как можно?

И в душе отвечали:

— Так нельзя...

А потом — в цехе, в учреждении, в красном уголке — слушали обязательные уроки по какой-то главе «Краткого курса истории партии» или принимали, единогласно, конечно, резолюцию о том, как они благодарны партии и ее вождю за счастливую советскую жизнь, согретую «лучами сталинской конституции»...

Неравный брак», «Романтическая история», «Лимонад» и еще во многих рассказах Зощенко показал «прелести быта», равные кошмару расстроенного воображения или бреду сумасшедшего...

А ведь коммунальные квартиры — это реальность. В них жили и живут вот так, как рассказывал Зощенко, живут «строители коммунизма», вдобавок «беззаветно преданные партии и правительству»...

«На кухне у нас холодно и неуютно. Прямо мыться вот как неохота»...

(«Четыре дня»)

Нет, это не чудяку-одиночке «прямо мыться вот как неохота»... Холодно, неуютно всей стране, всем людям... тем, конечно, которые «не записаны в бархатную книгу жизни».

А кто ж записан в «бархатную книгу»? Что уж там объяснять! Хотя сам Зощенко иногда прямо пальцем указывает на «бархатного человека». Это — член партии «черт его зна-

ет с какого года»... или «государственный деятель»... или «ответственный товарищ»... или «работник просвещения»...

Им — жить стало веселей...

Остальным — коммунальные квартиры... А для Зоценко, во время его скитаний по стране, гостиница с продырявленными матрацами, с клопами, с вонью.

«Откровенно говоря, я не люблю путешествовать. Меня останавливает вопрос, где переночевать. Из ста случаев, мне только два раза удалось в гостинице комнату зацепить...»

... И вот я стал дремать, как вдруг меня стали кусать клопы. Нет, два-три клопа меня бы не испугали, но тут, как говорится, был громадный военный отряд, действовавший совместно с прыгающей кавалерией...

... Началось утро. Я снял тюфяк с кровати и положил его на пол... «Спи скорей, твоя подушка нужна другому», — сказал я себе, вспомнив, что такой плакат висел в Доме Колхозника в городе Феодосии.

(«Спи скорей»)

Страшное неудобство для коммунизма, что те самые «мелкие личности», о которых говорит Зоценко, тоже хотят есть. Но записанные «в бархатную книгу» об этом не любят вспоминать. И потому «мелкие личности» тащат в свою коммунальную квартиру все, вплоть до протухшей и выброшенной кооперативом капусты.

«Выперли мы эту протухшую бочечку во двор. На утро являемся — бочка чистая стоит. Сперли за ночь капусту. Очень мы, работники кооперации, от такого факта повеселели. Работа прямо в руках кипит — такой подъем наблюдается. Начальник наш, голубчик Иван Федорович, ходит и ручки свои трет.»

— Славно, — говорит, — товарищи, пуцай теперь хоть весь товар тухнет, завсегда так делать будем.

Вскоре стухла у нас еще одна бочечка. И кадушка с огурцами.

Обрадовались мы. Выкатили добро во двор и калиточку малость приоткрыли. Пуцай, дескать, повидней с улицы. И валяйте, граждане!

Только на этот раз мы проштрафились. Не только у нас капусту уволокли, а и бочку, черти, укатили. И кадушечку слямзили».

(«Бочка»)

Да что капуста? Капусту, хоть и протухшую, к делу как-то можно приспособить.

«С субботы на воскресенье я в Москву поехал... Вхожу в вагон. Присаживаюсь сбоку. Еду. Три версты отъехал — жрать захотелось. А жрать — нечего... Доехал до Москвы. Вылез. Посидел на вокзале. Выпил четыре кружки воды из бака... И пошел — покачиваясь».

(«Пассажир»)

«И пошел — покачиваясь». Что это? Шутка? Куда там! От недоедания, от голода покачивалась вся страна.

Но, тут серьезные люди будут сердито возражать: «Чего вы такую глубокую мысль ищете в юморе?»

Серьезному человеку нет времени читать рассказы Зо-щенко? Жаль! Прочитав их, и сердитый серьезный человек (если он не значитя в «бархатной книге жизни») мог бы найти глубокие мысли в юморе или, на худой конец, разгадать подлость слов: «Жить стало, товарищи, лучше, жить стало веселей».

Слова-то, ведь, не забудем — сталинские...

Прошлое и будущее...

«Старой России нет»... Эти слова взяты из повести «Перед восходом солнца»...

И в словах, взятых из повести, и в названии повести — символы: «Старой России нет» — прошлое зачеркивается; «Перед восходом солнца» — будущее...

Когда берешь совсем-совсем ранние рассказы Зоценко, думается, что он сам верил в февральскую революцию 1917 года и — позже — верил в октябрьскую...

Да и не мог он не верить в революцию. Ведь эта вера носилась тогда в воздухе. Воздухом революции дышал весь народ, вся страна. Как не верить? Ведь и революция для того, чтобы пришел хороший мир. Иначе — что ж это за революция?

И вот перед нами ранние рассказы из сборника «Веселая жизнь»...

Тут — еще нет сатиры... Тут — теплый юмор, согретый надеждой и верой в обещания. Потому и герои этих рассказов — полны трепетного ожидания. Сегодня... ну, да... сегодня — неважно, плоховато, но зато завтра...

Прошлое? Что ж... прошлое позади, прошлому не вернуться: «Старой России нет»...

Как бы ни относиться к прошлому, все-таки много там было нескладного, дикого, бесчеловечного. На этом — поставлен крест...

И если можно так выразиться, то в сборнике «Веселая жизнь» засуетился маленький, смешноватый,, но очень остроумный и весьма зоркий человек.

Зоркость его — к прошлому... К будущему — сердце...

Сердце маленького человека принимает призраки за действительность, иллюзии кажутся реальными, а лозунги выглядят, как нерушимые клятвы, как присяга.

Маленький человек из сборника «Веселая жизнь» — это прототип этого среднего человека, который придет позже . . . придет другим, без иллюзий, без веры . . . придет обманутым и понимающим обман . . .

Но это случится позже . . . А пока что, так ли уж действительно и окончательно, без сожаления, зачеркивал Зоценко прошлое, навсегда «сжигал мосты»? Нет. К прошлому — он иногда возвращался. Из прошлого он кое-что утверждал, как незыблемое, нужное, нерушимое. И даже смеялся над слишком усердными певцами, оравшими во всю глотку: «Мы свой, мы новый мир построим» . . .

«Конечно, другие интеллигенты, действительно верно, другой раз произносят разные слова. Дескать, люди оп-ределенно еще дрянь. Дескать, их надо подравнять, привести в порядок. Надо их подутюжить. Только тогда жизнь может засиять в полном своем дивном блеске. Но автор как раз не имеет такого мнения. Он решительно отмежевывается от таких взглядов. Конечно, безусловно надо изжить такие печальные недостатки механизма, как бюрократизм, волокита, чубаровщина и так далее. Но все остальное, пока что, более или менее стоит на месте и не мешает».

(«Сирень цветет»)

В этом утверждении: «Все остальное пока что стоит на месте и не мешает» — много полемического задора, много здорового и нормального пыла. Но все-таки здесь — ближе к политике, чем к эмоциям.

Простая тоска о прошлом иногда наваливалась на Зоценко. И тогда он в юмористическую ткань рассказа вдруг вплетал какой-то чужеродный кусочек. Присмотришься к нему, прислушаешься — и воспринимаешь его, как вздох сожаления.

«Представьте себе, читатель, небольшой, деревянный, желтой окраски дом . . . Двор . . . На дворе, по правую руку, небольшой сарай . . .

Знакомая, сладкая сердцу картина . . . Все это было как-то прелестно. Прелестно тихой, безмятежной жизнью. И оторванная даже ступенька у крыльца, несмотря

на свой скучный вид, и теперь мысленно приводит автора в тихое, созерцательное настроение».

(«Страшная ночь»)

Но чем дальше и дальше, тем реже и реже эти лирические отступления. А потом — и вовсе исчезают... Вместо этого — в юморе Зоценко звучит легко угадываемая злоба — не к людям, конечно! — и рассказы его уже расцветиваются сатирой...

Этот уход «от чистого юмора» заметен, начиная со сборника «Личная жизнь»... Правда, и теперь по страницам рассказов Зоценко мелькает тот же самый, хорошо знакомый нам маленький герой. Но этот герой уже повзрослел, духовно вырос, многое понял.

Герой ли смотрит теперь глазами Зоценко, или сам Зоценко смотрит глазами героя — это не столь важно. Важно то, что читатель видит в этих рассказах того, кто — вместе с читателем! — уже трезво глядит на жизнь. Иллюзий — больше нет... Октябрьские клятвы — оказались ложью, трюком, обманом...

Так в рассказы Зоценко вошел неустроенный, разочарованный «средний человек», именем которого или от имени которого и взял на себя право говорить автор.

Герою этих рассказов уже присущи настроения безнадежности. Откуда это идет? От «героя» к Зоценко, или от Зоценко — к «герою»?

«Птица-соловей поет о какой-то будущей распрекрасной жизни. Автор тоже так думает: о будущей отличной жизни, скажем, лет через триста.

Да, читатель, скорей бы, как сон, прошли эти триста лет».

(«О чем пел соловей»)

За безнадежностью — тенью ползет тяжелое сознание: нет сил что-то изменить, как-то повлиять на ход событий. Где тот набат, который поднял бы весь народ? Власть сделала все, чтобы такой набат не звучал. И не может писатель крикнуть: «Довольно!»

«Автор не хочет загадывать, какая будет жизнь. Зачем же трепать свои нервы и расстраивать здоровье — все

равно бесцельно, все равно не увидит автор этой будущей прекрасной жизни. Да и будет ли она прекрасна — это еще вопрос» . . .

(«О чем пел соловей»)

Так что же: «прошлого нет», а будущее . . . Вот уже говорить об этом «будущем», каким оно вырисовывается в рассказах Зоценко, то говорить без дрожи нельзя.

Страна корчится от голода и ежится от холода . . . А в речах вождей — благоденствие, процветание и непрерывные воздушные ванны под лучами сталинского солнца . . .

Бесстыдная, мрачная ложь ползет по земле . . .

Именно в этот момент сатира Зоценко, сатира, облеченная в легкие, звучные, вѣдчивые слова бьет по носителям этой лжи, несправедливости, издевательства, изуверства! Сила Зоценко в том, что он не стал похож на тяжелого Салтыкова-Щедрина. Салтыков-Щедрин нагромождал вороха надуманных слов, которые (чего там греха таить!) — мимо народа шли в великосветские салоны и там вызывали «ахи» и «охи». Сатира Зоценко стремглав летела к людям коммунальных квартир, рабочих общежитий, сел и деревень. Ее тут принимали в объятия: сам народ умеет говорить кратко, выразительно, «в точку». Так умел выразиться и Зоценко.

«Давеча, граждане, воз кирпичей по нашей улице провезли. Ей-Богу! У меня, знаете, аж сердце затрепетало от радости. Потому строимся же, граждане. Кирпич-то ведь не зря везут. Домишко, значит, где-нибудь строится. Началось — тьфу-тьфу, не сглазить».

(«Кризис»)

«Факты» и «фактики», «безусловно мелкие факты», «прочие граждане», «вообще совсем не герои, а средние люди», — так часто, с теплотой и любовью к людям и их делам говорил Зоценко в своих рассказах . . . Было время — эти люди дружно хоронили прошлое . . . и хороня это прошлое позабыли присмотреться, в чьи руки переходит «будущее».

И будущего у людей — не оказалось . . .

Как жить человеку без будущего? Смятение и тревогу чувствует сам Зоценко, неоднократно восклицавший:

«Жизнь такая смешная... Скучно как-то существовать на земле. Ох, скучно как! До чего скучно!»

Так-таки и нет будущего? Кто знает...

Но уместно вспомнить уже не Зоценко, а письмо студентов к Зоценко, в котором они советскую жизнь в период НЭПа («новая экономическая политика») называли:

«ПУСТЫНЕЙ С МИРАЖАМИ»,

а период после НЭПа (период расцвета власти Сталина и сталинских преступлений):

«ПУСТЫНЕЙ БЕЗ МИРАЖЕЙ»...

Зощенко и партийность в литературе...

«Вообще писателем быть очень трудновато. Скажем тоже — идеология. Требуется нынче от писателя идеология . . . Какая, скажите, может быть у меня точная идеология, если ни одна из партий в целом меня не привлекает».

(«О себе»)

Представим себе такую невероятную картину: где-то кто-то установил «сверх-нобелевскую премию», которая, скажем, года через два будет выдана тому, кто в рассказах, повестях или просто публичных высказываниях советских писателей найдет такие откровенные высказывания, как у Зощенко:

- 1. Никакая партия меня не привлекает . . .**
- 2. Никакой идеологии я не признаю . . .**
- 3. Я — не коммунист, и коммунистом никогда не буду...**

С полной уверенностью можно сказать: эта «сверх-нобелевская премия» так и останется лежать втуне, лежать заколдованным кладом. Потому что никто, ни Шолоховы — генералы штаба партийной литературы, ни Лацисы — левофланговые партийно-литературных рот, подобных заявлений не делали и пока что не намерены делать. Они предпочитают вопрошать: «Чего изволите?» И выполнив приказ, по-лакейски радуются сталинским иль ленинским премиям и, видимо, с нетерпением ожидают, когда, наконец, будут установлены хрущевские чаевые.

Писатели на цыпочках или на вытяжку (это зависело от «индивидуальности») ходили мимо памятника Ленину и Сталину и делали «смирно» перед любым партийным билетом... А Зощенко — посмеивался.

Советские писатели, как только вставляли в свои «художественные произведения» такую, например, фразу: «На столе ударника лежит первый том сочинений великого вождя и учителя И. В. Сталина», то слова «Первый Том Сочинений Великого Вождя» обязательно начинались с прописной буквы. А Зоценко иронизировал:

«Всегда я симпатизировал центральным убеждениям. Даже вот когда в эпоху военного коммунизма НЭП ввели, я не протестовал».

«Многие ученые и партийные люди вообще склонны понижать это чувство. Позвольте, говорят они, какая любовь? Нет никакой любви. И никогда не было. И вообще, мол, это заурядный акт того же гражданского состояния, ну, например, вроде похорон».

(«Прелести культуры»)

О критиках — пока помолчим: о них скажем позже... Но советские писатели, все эти «соцреалисты» распластывались перед самым что ни на есть глупейшим указанием ЦК и перед дурацким высказыванием вождя о литературе.

Сталин диктовал законы, устанавливал «нормы» творчества. Писали по сталински. Цитировали Сталина. Ссылались на авторитет Сталина. Во всех случаях. Если бы Сталину взбрело на ум что-либо о «благородстве» труда ассенизатора, немедленно появился бы «производственный» роман, наполненный запахом выгребных ям, нашпигованный цитатами из такого-то тома сочинений вождя.

Да что Сталин: Вспомним XIX съезд коммунистической партии и речь Маленкова, в которой он «дал установки» для определения «типического».

Захлебнулась от восторга «литературная шатия» «между прочим, это из стихов Маяковского, посвященных, правда, другой «эпохе» и другому политическому «курсу»). Повизгивая от партийного удовольствия, «литературная шатия» на все лады пересказывала маленковскую благоглупость и речь Маленкова признала «величайшей мудростью» и «литературным откровением».

Но — «недолго музыка играла...»

Скоро Маленков оказался «паршивой овцой» (между прочим, это из прозы, вернее — из речи Хрущева). «Литературная шатия» не растерялась. Маленковские высказывания были объявлены дрянью и ересью. Дрянь и ересь дружно сволокли на свалку. Сурковы, Полевые, Панферовы, даже не дав языку отдохнуть от прославления Сталина и Маленкова, вновь заверещали, на этот раз уже вдохновляясь хрущевской концепцией о партийности в литературе.

Люди без собственного мнения... Впрямь, Иваны, не помнящие родства...

«Автор же, признавая собственное ничтожество и неспособность к жизни, даже, черт с вами, пуцай трамвай впереди, — автор все же остается при своем мнении... Автор уже предвидит ряд жестоких отпавей со стороны общественных деятелей.

— Это, — скажут, — товарищ, не пример ваша собственная фигура. Ваша, — скажут, — персона не созвучна эпохе и вообще случайно дожила до теперешних дней.

Видали? Случайно! То-есть, дозволейте вас спросить, как это случайно? Что ж, прикажете под трамвай ложиться?

Да это как вам угодно, — скажут. — Под трамвай или с моста, а только существование ваше ни на чем не обосновано...

Видали? Ну и черт с вами».

(«О чем пел соловей»)

Зоценко прекрасно понимал, что среди советских писателей — он вроде «белой вороны» среди красноватых или красных «соцреалистов». Он давно разгадал их ничтожество, их беспринципность, их «несозвучность» «средним человеком». Об этих «средних человеках», красноватые и красные не хотели думать, предпочитая хрюкать во славу очередной «генеральной линии партии».

Сталинско-ждановская машина инквизиции вырвала из рук Зоценко перо. Злорадный вой критиков преследовал его по пятам, вплоть до гроба...

Как после этого не сказать: к партийности в литературе, к соцреализму — Зощенко не имел никакого отношения.

Зощенко — не вероотступник: он не поступался традициями большой русской литературы. И только когда ему было до тоски невтерпеж — он презрительно бросал в лицо своим преследователям:

— Черт с вами!

О руководящих и руководимых

«Когда вмешивается в это дело милиционер, женщина говорит:

Этот выпивший человек, несущий на руках нашего сына, есть мой муж. Муж у меня исключительно любит ребенка. И только когда я зайду с сыном в пивную, муж мой весь преобразается, берет его на руки и идет домой. Но попробуйте у него отобрать ребенка — он снова будет пить. Вот что я могу вам сказать на ваши законные крики, угрозы и возмущение.

Тут многие развели руками, когда услышали эту реплику. А некоторые заплодировали и расступились, чтобы дать им дорогу.

И тут все убедились, что он крайне бережно и крепко держит ребенка.

И милиционер, не зная, какую резолюцию подвести под это дело, взял под козырек и, вздохнувши, сказал:

— Все в порядке. Пуцай идут!

И все рассмеялись и разошлись по своим делам».

(«О чем пел соловей»)

В этом изумительном по лаконичности и выразительности рассказике «Не пуцуй!» — весь Зощенко...

В руках рабочего — получка... Посмотрел он на получку... Господи, и вот это за стахановскую или ударную работу... За работу под надзором партийных организаторов, под их каждодневный крик:

- Повышайте производительность труда!
- Перевыполняйте нормы!
- Выполняйте решения партии!
- Соревнованием докажите преданность партии!

И... загулял рабочий. В вине или в пиве он пытается утопить свою тоску о своей обездоленности...

Тоска? Да это же враждебное партии настроение? И партия в этом не ошибается. Не ошибался и Сталин, причисливший «загулявших» к вредителям. А если говорить о наших днях, то надо сказать, что и Хрущев недалеко ушел от Сталина. Хрущев, совсем недавно — в июле-августе 1958 года — заявил, что пришла пора «наступитъ пьяницам на хвост». Угроза, как надо понимать, вполне реальная, чисто сталинская... выраженная несколько иначе...

Существует ли «хвост» у пьяниц, это дело (как по другому поводу говорил Зоценко) «весьма таки темное»... Но этот «хвост» мог бы стать очень злой темой для сатиры. В самом деле, кто против пьянства? Хрущев? Который Хрущев? Да тот самый Никита Хрущев, который, видимо, окончательно протрезвиться только в гробу. Тот самый, который на московских банкетах в полупьяном виде выступает с речами. Тот самый, который в Лондоне, во время официального визита в Англию, болтал пьяную чепуху и чуть ли не матерился. Так вот, прицепившись к «хвосту» — сатирик мог бы с полным основанием спросить: каких размеров «хвост» у Хрущева?

Но дело, конечно, не в личности Хрущева. Сам по себе Хрущев — исторический анекдот. А то, что и Хрущев продолжает сталинскую борьбу с «загулом», еще одно свидетельство, как эта «проблема» тревожит партию.

Зоценко видел этот «загул»... Видит это и партия... Но с насколько различными мерками подходят они к этому явлению!

Загулявший рабочий для партии — враг... Для Зоценко — это обыкновенный, хороший, душевный человек. Зоценко как бы приглашает: забудьте на минуту хмель... и разве этот рабочий не близок и не понятен вам? Да конечно же — близок и понятен. Даже милиционер — и тот «взял под козырек». Под козырек? По какому случаю? Да по простому: милиционер понял, что перед ним не просто пьяный... перед ним социальное явление, нечто весьма серьезное, внушительное, заставляющее задуматься.

**«И милиционер... вздохнувши, сказал:
— Все в порядке... Пуццай идет»...**

(«Не пуццу!»)

Все поняли... Все, собравшиеся к месту происшествия, убедились, что действительно «все в порядке»:

«Все рассмеялись и разошлись по своим делам»...

И вот тут Зоценко с удивительной непосредственностью ставит проблему «руководящих» и «руководимых», проблеме «они» и «мы».

С кем Зоценко? Да конечно же на стороне «мы», на стороне среднего человека, того, кто не причастен к коммунистической партии, того, кто не носит партийного билета, этой «охранной грамоты», этого мандата на руководство «массаами».

Зоценко любит своего героя и, выражаясь высокопарно, он — трибун этой «массы». А трибун, как правило, обвинитель. Но Зоценко не прокурор. Он — писатель. Он и обвиняет «руководящих», как писатель, обвиняет страницами своих книг.

Глупость «мероприятий» и «директив» партии, уродливое лицо кретинов из легионов «руководящих» — смотрится со страниц его рассказов.

«Как в других городах проходит режим экономии, я, товарищи, не знаю. А вот в городе Борисове этот режим очень выгодно обернулся.

За одну короткую зиму в одном только нашем учреждении семь сажен дров сэкономили. Худо ли?

Десять лет такой экономии — это десять кубов все-таки. А за сто лет — очень свободно три барки сэкономить можно. Через тысячу лет вообще дровами торговать можно будет.

Заведующий у нас — свой парень. Про все с нами советуется и говорит, как с родными. Так приходит как-то этот заведующий и объявляет:

— Ну, вот, ребяташки, началось. Подтянитесь! Экономьте что-нибудь там такое.

А что и как экономить — неизвестно... Тут, спасибо, наша уборщица Ньюша женский вопрос вносит на рассмотрение:

— Раз, — говорит, — такое международное положение и вообще труба, то, — говорит, — можно, для примера, уборную не отапливать. Чего там зря поленья перегонять? Не в гостиной!

Так и сделали. Бросили топить, стали экономию подсчитывать. Действительно, семь сажен сэкономили. Стали восьмью экономить, да тут весна ударила...

Подкузьмила, одним словом, нас весна... А что труба там какая-то от мороза оказалась лопнувши... без трубы обойдемся... Не в гостиной».

(«Режим экономии»)

«Руководящие — этот «новый класс» — вверху... «Руководимые» внизу...

В лозунгах, в решениях ЦК, в статьях «Правды», «Литературной газеты» — между «верхом» и «низом» царит единение, монолитность, некое блаженное слияние членов партии и беспартийных. Бесклассовое общество...

Цену этому — знает советский народ. Знал и Зоценко...

«Ванюшка-то Леденцов работу получил. Истинная правда. В тресте теперь работает. А кто бы мог подумать? У человека то-есть ни протекции, ни знакомств, ни ячеек — ничего такого не было. И вот поди же ты! Работает...

... А пришел однажды Ванюша Леденцов к грузчику. Поставил ему пару пива и говорит:

— Вот что, друг! Протекций у меня, сам знаешь, нету, в ячейках не состою — подсоби по возможности...

И так складно все случилось. В прошлом году грузчик мебель перевозил трестовскому бухгалтеру.

— Так и так, — говорит, — уважаемый бухгалтер. Ткните, куда ни на есть, Ванюшку Леденцова. Протекции у него, у подлеца, нету. Ничего такого нету. В ячейках не состоит...

Бухгалтер говорит:

— Навряд ли, милый человек, можно без протекции...

Но такая тут Ванюшке удача подошла... Назавтра приходит бухгалтер к коммерческому директору и говорит:

— Знаете, товарищ директор, нынче без протекции прямо гроб...

— А что? — спрашивает директор.

— Да так, — говорит бухгалтер, — мотается тут один парнишка без протекции, так никуда не может приткнуться...

А тут директор-распорядитель входит.

— Об чем, — говорит, речь?

— Да вот, — говорят, — парнишка тут есть один, Леденцов фамилия, никакой у него, у подлеца, протекции нету, не может никуда ткнуться...

Директор-распорядитель говорит:

— Ну, пуцай к нам придет... Надо же человечка и без протекции уважить...

Так и уважили... Вот бывает же!»

(«Бывает»)

Если же взять вообще произведения Зоценко, то примеров вот такого хамского отношения «руководящих» можно найти немало... Под покровом «смешливых» историй — Зоценко показал жизнь без просвета, показал «советскую пустыню без миражей»...

Зоценко всегда был честен к самому себе, честен к тем, кого он любил. Он ни разу — ни одной строчкой! — не был на стороне «руководящих» и всегда — на стороне — «руководимых» он говорил так, как он их видел... со всеми их страданиями, бедностью, неустроенностью и незащищенностью. Говорил с любовью, с состраданием, облаченным в покровы едкой сатиры.

«Страдания и радости ничуть не уменьшаются оттого, что человек, ну, скажем, не намалевал на полотне какой-нибудь шедевр, или не научился быстро ударять по рояльным клавишам, или, скажем, не отыскал для блага и спокойствия человечества какую-то лишнюю звезду или комету на небосводе».

(«Синягин»)

Зощенко и подневольное творчество

Идут десятилетия... Вслед за Лениным — в мавзолее погребен Сталин... Сталина заменил Маленков... Маленкову можно не рассчитывать на мавзолей. После кратковременного пребывания в должности вождя — он оказался причисленным к категории «паршивых овец» (по выражению Хрущева).

После этого на коммунистическом Олимпе главенствует Хрущев...

И — ничего не изменилось. Система осталась ленинско-сталинская. Существует тот же самый строй, который Зощенко осторожно называл «механизмом».

Любой механизм — олицетворенное равнодушие к судьбе человека... Но какой ужас «механизм» коммунистический! Ведь во власти этого механизма — судьба двухсот миллионов.

Кто найдет новое в жизни страны? Тот, кто хочет самого себя обмануть «культом личности», перестройкой управления в промышленности или передачей тракторов из МТС в колхозы. Да еще тем, что Хрущев, видите ли, до сих пор не вернулся к конвейерному расстрелу, чем так увлекался Сталин.

Нового — нет... Есть попытка партии создать некие миражи или призраки... Миражи и призраки — по утверждению медиков — обманывают или пугают.

С писателями дело обстоит проще: для них — ни призраков, ни миражей. Для них — голый приказ, примитивный, как дубина в руках средневекового разбойника или как резиновая палка современного полицейского.

Приказ простой и краткий: советская литература должна быть только партийной, идейной, свободной от индивидуализма и прочих «грехов» подлинно свободного творчества.

Пункты этого приказа изложены в речах Хрущева (лето 1957 года)...

После речей Хрущева прошло немного времени — всего лишь год! — и советская литература превратилась в служанку, выполняющую самые мерзкие требования хозяина.

Служанка — существо подневольное. Подневольной была литература при Ленине и Сталине. Сегодня — она уже рабыня, собственность Никиты Сергеевича Хрущева. Сегодня нельзя найти статью о литературе, в которой бы по нескольку раз не делались указания на «исторические указания» Хрущева, в которой бы не утверждалась какая-то, прямо-таки «вундеркиндовская» мудрость этого наследника Сталина.

28 августа 1958 года «Литературная газета» в статье «Для партии» договорилась, например, до того, что «родная коммунистическая партия» и не менее родной Хрущев разгромили ревизионистские настроения писателей, и что теперь (опять-таки благодаря родному Хрущеву) обеспечена «идейная чистота советской литературы».

Так и сказано: «идейная чистота советской литературы»... Что ж, в руках «родной партии» и «родного Хрущева» достаточно пулеметов и концлагерей, чтоб обеспечить «идейную чистоту литературы». Но всякому мало-мальски понимающему ясно, что как только «чистота» будет обеспечена, исчезнет литература. Вместо нее, как говорил Зощенко, утвердится «ураганная идеология».

Мрак покрывает советскую литературу... И наступит — ночь...

«Теперь нарочно возьмем нашу дорогую литературу... Герои, как нарочно, подобраны нелюбезные... Вместо веселых и радостных приключений описываются кровавые стычки из эпохи гражданской войны. Либо вообще чего-нибудь описывается, от чего клюешь носом.

Нет, не согласен автор с такой литературой! Пуццай в этой литературе много хороших и гениальных книг, пуццай в этих книгах черт знает какие глубокие идеи и разнообразные слова — не может автор найти в них душевного равновесия и радости... Нет, не согласен автор с нашей высокой литературой».

(«Веселое приключение»)

«Не согласен!» Если перенести это утверждение в прошлое, оно очень напоминает «Не могу молчать» Льва Толстого... Конечно, мы далеки от мысли ставить знак равенства между Зоценко и Толстым, но аналогия «Не согласен» и «Не могу молчать» — весьма привлекательна.

Привлекательность ее в том, что Зоценко в очень страшные и мрачные годы осмеливался говорить о подневольном творчестве, указывать на него, смеяться над ним. Смеяться над приказом партии в книгах иметь дело со «стопроцентным коммунистом», этим единственным положительным героем советской литературы.

«Хочется сегодня размахнуться на что-нибудь героическое. На какой-нибудь этакий грандиозный, обширный характер со многими передовыми взглядами и настроениями. А то все мелочь да мелкота — прямо противно...»

Не поперло нам в жизни... Так и не удалось нам встретиться близко с каким-нибудь таким героическим товарищем».

(«Мелкота»)

Нет героического товарища? Хо-хо! Зоценко знает, что есть «героический товарищ»... У этого «товарища», как известно, пистолет... Под пистолетом, тоже всем известно, строят коммунизм...

Вот такого то строителя и надо, по приказу сверху, «отображать», но так, чтобы пистолет не был замечен. Чтоб не были видны ЧК, ГПУ, НКВД, МВД. Чтоб не было сказано правды о жизни советских людей.

А есть ли такая литература? Есть. И она называется литературой партийной, идейной, построенной по рецептам социалистического реализма. Она всегда существовала, она появилась на свет вместе с октябрём большевизма.

К такой «литературе» Зоценко не был причастен...

«Позвольте, скажут, а чего, собственно, автор хочет сказать этим художественным произведением? Чего он хотел выяснить? И откуда, скажут, ему видать развитие наших командных высот? Или, может быть, это чи-

стое искусство для искусства? Или, быть может, вообще автор — нытик и сукин сын?»

(«Клад»)

В концентрационном лагере человека можно заставить ворочать камни . . . Человек будет их передвигать с места на место . . . Будет таскать глыбы, с предельной отчетливостью сознавая, что вот такая его подневольная, бессмысленная «работа» никому не нужна.

Бессмысленна и никому не нужна и литература из-под палки . . .

«Где взять этот стремительный полет фантазии, если российская действительность не такова?

А что — до революции, то опять-таки тут запятая. Стремительность тут есть. И есть величественная фантазия. А попробуй ее описать? Скажут — неверно. Неправильно — скажут. Научного, скажут, подхода нет. Идеология, скажут, не ахти какая.

А где взять этот подход? Где взять, я спрашиваю, этот научный подход и идеологию?

Эх, уважаемый читатель! Беда, как плохо быть русским писателем. Вот и пишешь с полным сознанием своей безнадежности. И утешения никакого нет».

(«Страшная ночь»)

Сказав мрачное слово «БЕЗНАДЕЖНОСТЬ» — Зоценко как бы уже видел свое будущее, будущее русского писателя, оказавшегося в лапах коммунизма. Он как бы уже предвидел 1946 год . . . ждановщину . . . предвидел последовавшие за ней свои годы молчания . . .

Мы не можем указать то место, или тот подвал, или тот исправительно-трудовой лагерь, где провел Зоценко ТРИ ТЫСЯЧИ дней и ТРИ ТЫСЯЧИ ночей. Во всяком случае дата «1946—1954» будущим биографом Зоценко не останется обойденной молчанием.

Пока что укажем, что его имя, как русского писателя, было изъято из всех советских энциклопедий. Его имя не прозносилось.

Был большой писатель — не стало писателя. Как будто, его никогда и не было . . .

После смерти Сталина, партия кое-кого из оставшихся в живых (прежних врагов!) амнистировала, чтобы доказать серьезность своих намерений покончить «с культом личности».

В числе амнистированных оказался и Зощенко. 1954 год — это год облегченного вздоха: тиран и кровавых дел мастер Сталин сошел со сцены. Вдохнули, подняли головы некоторые писатели, зашептали «об оттепели».

И вот тогда, почти после десятка лет молчания, заговорил Зощенко: в журнале «Крокодил» появился его фельетон «Литературные будни»...

«Многие жалуются на литераторов. И, дескать, они сухо пишут. И берут мелкие, мизерные темы для своих пухлых произведений. Либо, более того, лакируют действительность, неизвестно с какой стати...

Все это так, но свои дефекты писатели не из пальца высосали. Следовало бы учесть все те сложности нашей профессии, какие нередко приводят авторов к вышеуказанным результатам...

Да, удивительно сложное дело — литература! В особенности она сложна в сравнении, как говорится, с другими смежными профессиями».

«Литературные будни», «Крокодил» — 54 г.

И если уж говорить о «воскресшем» Зощенко, то надо сказать: «Литературные будни» далеки от былой яркости Зощенко...

Конечно, десяток лет молчания (да еще — где!) многое объясняют. И потому — с полным уважением относясь к этим вымученным строчкам — мы с горечью говорим: это был последний фельетон Зощенко, своеобразное завещание большого писателя, еще раз удивившего БЕЗНАДЕЖНОСТЬ... и вновь осмелившегося сказать об этом...

Зощенко прошел путь больших испытаний... Ленин... Сталин... Исторически, с преемственной ответственностью за судьбу писателя, у могилы Зощенко оказался Хрущев.

Хрущев, если б он не боялся уронить свое достоинство «вождя», конечно, с радостью и собственноручно завалил бы могилу Зощенко камнем. Но справедливости ради, партия

должна была бы высечь на этом камне вот такие слова из статьи Зоценко:

«До сих пор не знают, куда меня, собственно, причалить: к высокой литературе или к литературе мелкой...

До сих пор не решили, кто я такой:

ВРАГ или ДРУГ» . . .

Зощенко и его критики

Среди советских литературных критиков не последнее место занимает Я. Эльсберг. Его статьями питаются многие газеты и журналы, в частности «Литературная газета» и «Вопросы литературы».

Нынче Эльсберг — общепризнанный «стопроцентный» союзник Хрущева по борьбе с писателями-ревизионистами, ярый поборник «литературы партийной, литературы идейной» . . .

Короче: отличного лакея имеет Хрущев . . . Но заметим, что верность Эльсберга Хрущеву весьма недавнего происхождения: со дня смерти Сталина. До этого, Эльсберг был предан только Сталину. Прославляя Сталина, Эльсберг написал много бумаги. Но . . . не станем ворошить всех статей этого критика!

Перед нами книга:

Салтыков-Щедрин.

Рассказы, очерки, сказки.

Москва-Ленинград.

Издание

Министерства просвещения РСФСР.

1951 год.»

Книга открывается длиннейшей и, сказать прямо, подлейшей критической статьей Я. Эльсберга. Как он пресмыкается перед Сталиным, называя его и мудрым, и великим и гениальным! Статья пересыпана льстивыми обращениями критика к авторитету Сталина, которые звучат истошным воплем: «Обрати на меня внимание, великий Сталин!»

В статье Эльсберга много таких строчек: «Мы осознаем счастье жить в великую сталинскую эпоху» . . . «Щедрин, как указывал товарищ Иосиф Виссарионович Сталин, вели-

кий сатирик»... «В сочинениях и выступлениях великого Сталина мы часто встречаем...» «Читая произведения Щедрина — наше юношество еще лучше понимает свое счастье жить в эпоху великого Сталина»...

Для чего мы сюда проволокли этого критика, служившего верой и правдой сначала одному хозяину — Сталину, а теперь — другому — Хрущеву? Неужели только для того, чтобы показать, что Эльсберг нынче — 9 августа 1958 года, например, — в статье «Для партии» («Литературная газета») уже утверждает хрущевские законы о борьбе с ревизионизмом, и законы соцреализма и партийности в литературе.

Нет! А для того, чтобы показать, каковы в самом деле эти «литературные критики». И еще для того, чтобы напомнить о том, как ослиное копыто подобных Эльсбергу «критиков» лягало Зоценко. Как и когда — справки об этом заняли бы тысячи страниц текста.

А вот спросим: есть ли в Советском Союзе советский писатель, который осмелился парировать удар этих партийно-литературных держиморд? Кто издевался над ними? Кто выражал свое к ним презрение? Трудно найти такое. Да и есть ли такое имя, кроме имени Зоценко?

«Какой-нибудь тут литературный критик, какой-нибудь писатель, какой-нибудь Рабиндранат Тагор ужасно как обрадуется и всполошится. «Вот, — скажет, потирая руки, — взгляните, — скажет, — на сукинова сына. Хватайте его и бейте по морде и по чем попало... Подождите драться и ударять по морде, уважаемые критики. Обождите замахиваться»...

(«Веселое приключение»)

Зоценко, понятно, не мог сказать прямо: вы, критики, — подхалимы, вы — лжете, вы — клеветеете, вы — подтасовываете факты, вы — литературные шулера! Но зачем говорить об этом прямо, если можно сказать со смехом, понятным всем?

«Автор, заранее забегая вперед, дает эту отповедь зарвавшимся критикам, которые явно из озорничества по-

пытаются уличить автора в искажении действительности».

(«Страшная ночь»)

Отметим одно обстоятельство: Зощенко никогда не полемизировал с «отдельным критиком». Он никогда не направлял стрел сатиры против какого-либо определенного «Эльсберга». Зощенко всегда и всюду указывал пальцем на критику вообще.

Поступая так, он как бы с интимной окровленностью затевал разговор со своим многомиллионным читателем: «Видите, дескать, дорогие мои советские граждане, с какой сволочью мне приходится воевать моим скромным писательским пером?»

«И автор умоляет почтеннейшую критику вспомнить об этом замысловатом обстоятельстве, прежде чем замахнуться на незащитного писателя».

(«Сирень цветет»)

И потом, как бы по секрету шепнув своему читателю: «В этом рассказе ты найдешь кой-что интересное для себя и вредное кому-то», — Зощенко уже в полный голос говорил:

«Автор не желает расстраиваться и портить себе кровь. Ему надобно еще закончить повесть, съездить в Москву и сделать, кроме того, несколько неприятных автору визитов к кое-каким литературным критикам, попросив их торопиться с написанием критических статей и рецензий на эту повесть».

(«О чем пел соловей»)

И опять, как видим, разговор идет не о «критике», а о «критиках». Ловко, мастерски прибегая «к отступлениям», Зощенко с высоты своего таланта, с понятным читателю ехидством, бросает:

«Автор, как и всякий человечиска, считает себя вправе хотя бы как-нибудь прожить, не смотря ни на какие окрики строгих и нетерпеливых критиков».

(«О чем пел соловей»)

«Как и всякий человечиска»... Трудно найти лучше слова для доказательства, что Зоценко и советские люди — это люди одной судьбы. В этой фразе «как и всякий человечиска» — весь Зоценко, идущий об-руку со своим героем, с этим маленьким, смешным, лукавым и понимающим, что такое жизнь, человеком.

Сегодня Зоценко нет среди тех, кто его любил и кого он сам так трогательно любил. Но у нас осталось право сказать, что силен Зоценко был именно этой внутренней, духовной связью с людьми. Думается, что именно это и помогало Зоценко так долго и так успешно отбиваться от доносов критиков, от их критических статей, писанных как будто специально для сведения «соответствующих органов». Только этим, видимо, можно объяснить то удивительное обстоятельство, что «соответствующие органы» не тронули Зоценко до 1946 года, до года кровавой ждановщины...

Борьба, конечно, была неравной. Зоценко — один... Против него — легион «критических доносчиков» с партийными билетами в кармане... Надо было быть Зоценко, чтобы заявить: советская критика «хватает автора и бьет его по морде и по чем попало».

Но не критика сломила Зоценко и заставила его замолчать. Сломила и заставила замолчать система, бездушный «механизм» марки Жданов-Сталин...

Где-то, в деревнях, городках и городах Советского Союза остались рассказы и повести Зоценко. У читателей...

Придет время, вся эта тысяча или больше рассказов, написанных Зоценко, сольется в «Полное собрание сочинений» и подтвердит, что Зоценко победил критику и критиков...

Критику и критиков, которые более 35 лет травили Зоценко, забудут, как скверный сон...

Зоценко — будет жить в своих книгах...

Просто о людях...

«Автор... живет и хворает в самой, можно сказать, человеческой гуще. И описывает события не с планеты Марс, а с нашей окаянной землишки, с нашего Восточного полушария, где как раз и находится в одном из домов коммунальная квартирка, в которой жительствоует автор и в которой он, так сказать, воочию видит людей без всяких прикрас, нарядов и драпировок».

(«Сирень цветет»)

Эта повесть «Сирень цветет» весьма примечательна... Отдельные страницы повести — это советская жизнь в зеркале сатиры. И только свойственная Зоценко добродушная улыбка может кой-кого сбить с толку и увлечь в сторону от социального рисунка.

«Автор, — говорит писатель, — живет и хворает в самой, можно сказать, человеческой гуще»... Живя в этой «гуще» — Зоценко не был слепым. В судьбе отдельного человека он видел судьбу «гущи»... судьбу советских людей при Ленине, в конце Ленина, при Сталине...

«Непманам, разным нашим богачам и вообще иностранным капиталистам завидовать не приходится. Жизнь у них, безусловно, тяжелая...

Жил в Ленинграде такой Сисяев. Такой довольно арапистый человек. Он в начале НЭПа парикмахерскую держал. Ну, и, конечно, засыпался. Он засыпался в двадцать шестом году. Маленько посидел, где следует. И вскоре его, голубчика, выперли из Ленинграда куда-то подальше.

И, значит, хочешь-не хочешь, поехал».

(«Сильнее смерти»)

В Ленинграде, видите ли, жил Сисяев... Он во время НЭПа держал парикмахерскую...

Нет, не случаен в этом рассказе Сисяев... Сисяевых — сотни тысяч. Сотни тысяч кустарей Сисяевых, после военного коммунизма, одевали, обували, стригли страну... Рядом с Сисяевыми — миллионы крестьян-единоличников, после повального голода того же самого военного коммунизма — вдосталь накормили страну, завалив базары и рынки мукой, крупой, мясом, молоком, рыбой...

Страна ожила и расцвела... А чем все это кончилось? НЭП завершился разгромом и кустаря и крестьянина-единоличника. И когда Зоценко говорит, что Сисяева «посадили... выперли куда-то подальше», читатель отлично понимает: посадили, выперли не Сисяева, посадили, расстреливали, вывозили всю крепкую кустарно-крестьянскую Россию по Соловкам, Воркутам, Норильскам...

«Но, между прочим, как он кормился — для автора неясная тайна. Может, он даже и руку протягивал. А может и пробки собирал от минеральных и фруктовых вод. И продавал после. Были и такие отчаянные спекулянты».

(«О чем пел соловей»)

Вот он — неустроенный, обездоленный человек. Это — «просто гражданин», а не член коммунистической партии «черт его знает с какого года». «Просто люди» — это пасынки советской жизни...

«Из красной армии в родной свой городок приехал Иван Федорович Головкин. А тут как раз НЭП начался. Оживление. Булки стали выпекать. Жизнь, одним словом, ключем забила.

А наш приятель Головкин, несмотря на это, ходит по городу безуспешно. Помещения не имеет. И спит по субботам у знакомых. На собачьей подстилке. В передней комнате.

Ну, и, конечно, через это настроен скептически... Осунулся весь, поседел».

(«Пушкин»)

Таких людей, составляющих «людскую гущу», видит Зоценко... О них он и говорит то сам, то языком своего маленького, лукавого героя.

Читатель иногда смеется над злоключениями этих неустроенных, выбившихся из колеи и как будто не умеющих приспособиться к «системе». Но очень часто у Зоценко прорываются такие строчки и такие страницы, что уже никого не обманывают: Зоценко поднимается ввысь, на трибуну обличителя «системы» или «механизма» и тогда речь его звучит приговором и подлецам, прячущимся в «гуще жизни»...

«Седовласый человек жмет другому ручку и в глаза ему глядит и слова произносит. Вот раньше поглядел бы на это автор — душевно бы пораздовался. «Эвон, — подумал бы, — какие все милые, до чего любят друг друга и до чего жизнь прелестно складывается».

Ну, а сейчас не доверяет автор галлюцинации своего зрения. Автора гложут сомнения.

Автор запомнил на всю жизнь одно небольшое событие, случившееся совсем недавно. И это событие буквально режет автора без ножа.

Вот один милый дом. Гости туда шляются. Днюют и ночуют. В картишки играют. И кофе со сливками жрут. И за молодой хозяйкой почтительно ухаживают и ручки ей лобызают.

И вот, конечно, арестовывают хозяина-инженера. Жена хворает и чуть, конечно, с голоду не пухнет. И ни одна сволочь не заявляется. И никто ручек не лобызает. И вообще пугаются, как бы бывшее знакомство не кинуло на них тень.

Ну, что? Может быть это клевета? Может быть это и есть злобное измышление? Ха! Нет, это именно так и наблюдается каждую минуту нашей жизни. И пора, пора об этом говорить в глаза. А то все, знаете, красота да величие».

(«Сирень цветет»)

Но разве в этом обвинении «сволочей» не звучит обвинение к системе и «механизму»? «Сволочь» появляется не са-

ма по себе, «сволочь» — о которой говорит Зоценко — это продукт социальной жизни под солнцем Ленина-Сталина-Хрущева...

Перед этим феноменом в недоумении останавливается Зоценко. Он — в ужасе. Он предупреждает всех: «Так именно наблюдается в каждую минуту нашей жизни. И пора говорить об этом в глаза»...

Кому — в глаза? Об этом промолчал Зоценко. Да и нужны ли пояснения? Достаточно и заключительной реплики: «А то все, знаете, красота и величие».

Зоценко умел видеть просто людей, их жизнь в «гуще». И потому, что он умел видеть, он разглядел «сволочь», которая предательствует, которая «ради страха иудейска» отвернется от ближнего, для того, чтобы выставить себя преданным и покорным партии.

Но не «сволочь» составляет людскую, советскую гущу. «Сволочь», — пусть и не так мало ее, — мельтешится где-то сбоку и мешает жить...

«Печка у меня очень плохая. Вся семья завсегда угорает через нее. А чертов жакт починку производить отказывается. Экономит. Для очередной растраты.

Давеча осматривали эту мою печку. Вьюпку глядели. Нырjali туда во внутрь головой.

— Нету, — говорят, — жить можно.

— Товарищи, — говорю, — довольно стыдно такие слова произносить: жить можно. Мы завсегда угораем через вашу печку. Давеча кошка даже угорела. Ее тошнило давеча у ведра.

Чертов жакт говорит:

— Тогда устроим сейчас опыт. Если мы сейчас после топки угорим — ваше счастье: переложим. Если не угорим — извиняемся за отопление.

Затопили... Нюхаем... Казначей, жаба, говорит:

— Вполне отличная атмосфера... Голова через это не ослабеваает. У меня, — говорит, — в квартире атмосфера хуже воняет... А дух совершенно ровный...

Я говорю:

— Да как же, помилуйте, ровный? Эвон, как газ струится!

Председатель говорит:

— Позовите кошку. Ежели кошка будет смирно сидеть, значит ни хрена нету. Животное завсегда бескорыстно. Это не человек. На нее можно положиться...

Приходит кошка. Садится на кровать. Сидит тихо...

— Нету, — говорит председатель, — извиняемся...

Вдруг казначей покачнулся на кровати и говорит:

— Мне надо, знаете, спешно идти по делу.

И сам подходит до окна... и прямо на ногах качается...

Я оттянул его от окна.

— Так, — говорю, — нельзя экспертизу строить.

Он говорит:

— Пожалуйста... Мне воздух ваш вполне полезный... Ремонта я вам не могу сделать...

А через полчаса, когда самого председателя ложили на носилки и затем задвигали носилки в карету скорой помощи, я опять с ним разговорился.

— Ну, как, — спрашиваю.

— Да нет, — говорит, — не будет ремонта. Жить можно.

Так и не починили. Привыкаю. Человек не блоха — ко всему может привыкнуть».

(«Кошка и люди»)

Смешно? Смешно... Можно смеяться, но... нервным, злым смехом...

Потому что перед печкой сидит советский коммунальный жилец, советский жилец какого-то общежития. Не видеть, что «жилец» — это собирательный образ, воплотивший в себе всю страшную нужду, несправие и неустроенность советской жизни, значит быть слепым. Не понимать, что хотел Зощенко сказать смешной фразой: «Человек не блоха — ко всему может привыкнуть», значит ничего не понимать в советской жизни или быть «членом партии черт его знает с какого года»...

Злой, нервный смешок раздается почти с каждой страницы рассказов Зощенко. Да, этот смешок сильно приглушался фоном «мелких фактов», простодушной болтовней плутоватого и лукавого «героя»... Приглушался... В самом же де-

ле, «мелкая личность» вслух и для миллионов читателей говорила о вещах, за которые полагалась 58 статья уголовного кодекса . . .

«Просто люди» в произведениях Зоценко занимают большое место. Подчас даже трудно понять: пишет ли Зоценко о «простых людях», или пишет специально для «просто людей».

Кто сейчас, после смерти Зоценко, осмелится сказать, что он своей насмешкой над неустроенной жизнью, над диким бытом коммунальных квартир и общежитий не поддерживал дух людей, не намекал им, не утешал их, что так — вечно продолжаться не может.

Нет, мы глубоко убеждены, что Зоценко писал для «просто людей». Может быть, мы ошибаемся? Нет! Тысячу раз — нет!

Однажды поднялся критический шум о «раздутой» популярности Зоценко.

Зоценко объяснил причину своей популярности. На лай партийно-критических шавок он ответил очень серьезно: «ФРАЗА У МЕНЯ КОРОТКАЯ. ДОСТУПНАЯ БЕДНЫМ».

«Короткой фразой, доступной бедным» Зоценко делал то, что не делали, не делают и вряд-ли будут делать Полевые, Сурковы, Шолоховы, весьма ловко приспособившиеся к партии и к ленинско-сталинским премиям.

«Доступной бедным фразой» Зоценко страдал за «просто человека» и указывал на партийного хама и рабовладельца.

«А комиссаром у нас был некто такой Шамшурин. Он был идеологически выдержанный и партийный. Очень такой отчаянный человек. И герой гражданской войны.

Этот Шамшурин дело держал строго. Чуть что, ужасно ругался и всех подозревал в том, что они мало сочувствуют делу коммунизма. И решил товарищ комиссар Шамшурин проверить, кто из вверенных ему людей действительно враждебно настроен и кто сочувствует».

(«Испытание героев»)

И уж если говорить, чем же закончилась проверка «вверенных товарищу комиссару Шамшурину» людей, то напомним, что ни одного вполне сочувствующего не оказалось...

Отметим чрезвычайно важный факт, имеющий громадное значение для будущего биографа Зощенко: рассказ «Испытание героев» был опубликован в 1932 году, в разгул сталинского террора, на третьем году на крови крестьян строящейся сплошной коллективизации.

В этом, как и во многих других рассказах о «просто людях» Зощенко говорил «фразой короткой, доступной бедным»...

Июль 1958 года...

23 июля 1958 года телеграф и радио разнесли по всему миру весть: умер Михаил Михайлович Зощенко...

А на другой день газеты Европы и Америки поместили траурные сообщения: скончался большой русский писатель Михаил Михайлович Зощенко... Потом, то там то здесь, стали появляться статьи, раскрывающие глубину творчества Зощенко. Видные критики и знатоки русской литературы поражались удивительной способностью Зощенко, под покровом улыбки над «мелочами», показать страшную советскую действительность...

Придет время, все эти статьи и высказывания будут собраны и изучены. Какой это будет благодатный материал для литературного портрета Михаила Михайловича Зощенко!

Пока что скажем: все понимают, каким ярким талантом, каким исключением являлся Зощенко в той безжизненной, вялой и лживой писательской мути, которая только может называться литературой.

Одно из исключений — Зощенко... Он особняком стоял в этой литературе, мастер рассказа, мастер самобытного, блестящего — только ему одному принадлежащего — языка»...

Конечно, можно говорить, что среди советских писателей и кроме Зощенко есть таланты, почти ничего общего не имеющие ни с соцреализмом, ни с партийностью в литературе. Да понятно же — есть. Но как о них говорить, если партия их заставила молчать? К тому же, и речь идет не о них...

Михаил Михайлович Зощенко... Его уже нет... А вот те статьи и критические заметки, о которых мы говорили, они то ведь были помещены или в прессе западных стран

или в русских зарубежных газетах, выходящих в Европе, Америке и Австралии... В советской же печати о Зощенко — хотя со дня его смерти прошли месяцы — нет ни одной корреспонденции, ни одного подвала. В советских газетах было только короткое сообщение: умер такой то писатель. И — все...

Напрасно мы сегодня будем искать в советских энциклопедиях какую-либо справку о Зощенко. Сегодня — мы ничего не найдем. Ни слова.

Советские энциклопедии говорили о Зощенко раньше, до 1946 года... До ждановщины...

А вот теперь, во всех вышедших после ждановщины энциклопедиях, имени Зощенко мы не найдем. Как будто и не было такого писателя, о котором знает весь мир...

О чем это свидетельствует? Очень о многом. И прежде всего о том, что в 1946 году центральный комитет коммунистической партии Советского Союза окончательно ответил на такое зло и прямо поставленный самим Зощенко вопрос:

«До сих пор не знают, куда меня, собственно, причалить: к высокой литературе или к литературе мелкой.

До сих пор не решили: кто я такой?

ВРАГ или ДРУГ?»

В 1946 году ЦК КПСС ответил на этот вопрос: Зощенко — ВРАГ! Враг — коммунизма... Враг — партии... Причем враг из той категории, которая не поддается ни воспитанию, ни перевоспитанию... которая идет своим собственным путем... которая не оглядывается трусливо по сторонам и не пугается окриков... которая идет прямо, хотя и знает: впереди иль пуля иль концентрационный лагерь.

Таким страшным путем своей жизненной и творческой судьбы прошел Зощенко...

Достойный путь! Путь, возвеличивающий честь и достоинство русской литературы...

Признанный партией врагом, Зощенко, тем самым, был поставлен вне советской литературы.

Радоваться этому иль печалиться?

Роковой вопрос . . . На него ответит — будущее . . .

Нет с нами Зоценко . . . нет большого друга советского народа . . . нет среди нас писателя Михаила Михайловича Зоценко . . .

Склоним же голову над свежей могилой Михаила Михайловича Зоценко, жизнью своей и своим творчеством доказавшего, что он

В Р А Г

партийного произвола, враг «механизма», враг идеологии, принесшей народу бесправие и унижение . . .

Необходимые справки

Михаил Михайлович Зощенко родился в 1895 году...
Умер — 22 июля 1958 года...

И только через четыре дня после смерти писателя — 26 июля 1958 года — «Литературная газета» на последней странице поместила такое сообщение:

М. М. ЗОЩЕНКО

«После продолжительной и тяжелой болезни скончался писатель Михаил Михайлович Зощенко.

М. Зощенко родился в 1895 г. в г. Полтаве, в семье художника-передвижника. Учился на юридическом факультете Петербургского университета, с 1915 года участвовал в первой мировой войне. После октябрьской революции служил в советских пограничных войсках, был на фронтах гражданской войны, затем работал в советских учреждениях.

Свою литературную деятельность М. Зощенко начал более 35 лет тому назад. В 1921 г. вышла его первая книга. Перу Зощенко принадлежит немало юмористических повестей, рассказов и фельетонов. Юморист и бытописатель, М. Зощенко в лучших своих произведениях высмеивал проявления мещанства и обывательщины в быту и нравах.

Повести, рассказы и фельетоны писателя наибольшей популярностью пользовались в 20-е годы. Некоторые произведения М. Зощенко содержали серьезные ошибки и были подвергнуты советской общественностью принципиальной критике».

Правление Ленинградского отделения Союза писателей».

А вот сообщение, появившееся на второй день после смерти писателя, на первой странице русской зарубежной газете «Новое русское слово», издающейся в Нью-Йорке:

УМЕР МИХАИЛ ЗОЩЕНКО

«Лондон. Московское радио сообщает: на 63 году жизни, после продолжительной и тяжелой болезни скончался во вторник, 22 июля, в Ленинграде, писатель Михаил Михайлович Зощенко . . .

Покойный, один из самых ярких, своеобразных и талантливых представителей советской литературы, был главной жертвой Жданова, которому Сталин предписал в 1946 году произвести основательную чистку литературы.

Поводом для официального выпада против Зощенко послужил его рассказ об обезьяне, в котором Сталин и Жданов усмотрели «извращение советской действительности».

Зощенко был исключен из Союза советских писателей и на много лет лишен права активного участия в литературе.

В последние годы его опять стали печатать, и некоторые его очерки, в которых уже не было прежнего огня и задора, были опубликованы в «Крокодиле» и некоторых других советских журналах.

Несмотря на огромную популярность Зощенко, в последнем издании «Большой советской энциклопедии» о нем нет ни слова, как если бы в советской литературе такого писателя не существовало. 17 том энциклопедии (от слова «Земля» до слова «Индейцы») был выпущен в свет в 1951 году.

В 1928 году московским книгоиздательством «Современные проблемы» был издан сборник «Писатели», содержащий автобиографические очерки ряда известных писателей.

Вот что тогда сам о себе написал Зощенко:

«Я родился в Полтаве, в 1895 году. Мой отец художник. Дворянин.

В 1913 году я окончил классическую гимназию и поступил на юридический факультет Петербургского университета.

Курса не окончил. В 1915 году ушел добровольцем на фронт. Был ранен и отравлен газами. Чин — штабс-капитан.

В 1918 году пошел добровольцем в красную армию.

В 1919 году — вернулся в первобытное состояние.

В 1921 году — занялся литературой» ...

Многие рассказы Зощенко издавались и переиздавались русскими книгоиздательствами за рубежом ... »

ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ ИЗ СССР (ЦОПЭ)
ZOPE, München 2, Gaiglstraße 25, Deutschland / Germany

МЮНХЕН

1958